

СОКРАТ

(ок. 470 — 399 до н. э.)

Древнегреческий философ



Среди всех великих личностей, которыми так богата была Древняя Греция, вряд ли найдется одна, чье имя было бы более популярно, нежели имя Сократа. Беспримерная чистота его нравственного облика, чисто эллинское единство его учения и жизни и полная гармоничность его поступков с мотивами, – все это сплетается в нем в одно неразрывное целое, подобно тем многообразным цветам, которые составляют солнечный луч. Напрасно стали бы мы искать во всей галерее замечательных личностей истории другую, которая в нравственном отношении была бы так совершенна, как Сократ.

Сократ был сыном Софрониска, бедного афинского ремесленника-ваятеля, и Фэнареты, повивальной бабки, которая была уже раз замужем до того и имела от первого брака сына Патрокла. Предание, в правдивости которого нет основания сомневаться, уверяет, что род Софрониска был весьма древний и знатный и восходил к Дедалу, которому греческая мифология приписывала утверждение в Афи-

нах различных искусств и ремесел и чей сын Икар сделал безумную попытку подняться на восковых крыльях к солнцу и стал через это олицетворением тщеты человеческих стремлений к божественному идеалу. Что Сократ родился в Афинах – в этом нет никакого сомнения; но сам год рождения его до сих пор остался невыясненным. Одни полагают, что он увидел свет в 471 году до н. э. другие, – что в 469 году, а третьи утверждают даже, что в 468-м. Вторая из этих дат, однако наиболее вероятна, так как в своей речи на суде то есть в 399 году, Сократ, если верить Платону заявлял, что он – 70-летний старик. Вообще же первая половина его жизни – до вступления на поприще философской деятельности – мало известна, и только при помощи посторонних данных можно было бы кое-как дополнить скудные сведения об этом периоде сократовой жизни. Так, например, почти ничего неизвестно из того чему и как он учился: можно делать лишь некоторые догадки на основании дошедших до нас сведений о положении обра-

зования в древних Афинах вообще. Семи лет, вероятно, он стал посещать школу, так как начальное образование было тогда для всех обязательное и начиналось с этого возраста. В школе греческие мальчики и юноши обучались чтению, письму, арифметике, гимнастике и музыке. Гимнастика была предметом государственной необходимости: поскольку не существовало регулярной армии, каждый член общины должен был ежеминутно быть готове выступить в поход и защищать свое отечество с оружием в руках. Кроме того, в Греции, особенно в Спарте и Афинах, гимнастика и военное дело были подняты до степени искусства.

Музыка также была не только одним из изящных искусств. Она была тесно связана со всей религиозно-нравственной системой, на которой покоились не только пение и игра на инструменте, но и чтение и заучивание наизусть стихов из национальных поэтов, таких, как Гомер и Гесиод, – этих несокрушимых и чуть ли не главных авторитетов в области религии и морали. В сферу музыки входила также и пляска, которой сопровождалась религиозные и другие процессии, занимавшие столь важное место в общественной жизни Греции.

Всему этому, стало быть, должен был обучаться и Сократ, но его образование не ограничилось только этим. Плутарх, – или, скорее, псевдо-Плутарх – говорит, что богатый Критон, впоследствии ученик и друг Сократа, встретившись с последним, тогда еще юношей, был так поражен его умом и дарованиями, что взял его из отцовской мастерской и послал за свой счет к лучшим учителям того времени. Достоверность этого рассказа, по хронологическим и другим соображениям, справедливо оспаривается; но тот факт, что Сократ еще в юные годы ходил слушать выдающихся философов и изучать под их руководством все высшие области тогдашнего знания, весьма вероятен. Он был довольно хо-

рошо знаком с геометрией и астрономией и имел сносные знания по философии в системах Парменида, Гераклита, Демокрита, Анаксагора и Эмпедокла. Предпоследний даже, говорят, был его учителем, но насколько это верно, нельзя братья судить. Во всяком случае, ни этот философ, ни другие не сыграли в развитии Сократа большой роли. Он не нашел удовлетворения ни в одной и существовавших тогда школ и одинаково отрицательно относился и к Гераклиту, и к Демокриту, и к Пармениду, и к Эмпедоклу, считая их всех мечтателями, даром потратившие свои силы на предметы, недоступные человеческому познанию и маловажные по своему практическому значению. Сократа воспитала сама жизнь: это была та школа, которая заменила ему всякую теоретическую подготовку и умственную дисциплину, столь важные в большинстве других случаев. То был один из самых замечательных моментов в истории европейского человечества. Персидские войны только что окончились, и Восток отступил перед объединенными силами Эллады, тогда впервые сознавшей свое расовое единство и общность своей культуры. Громадный подъем национального духа был непосредственным результатом этого сознания, и одновременно с коренным переворотом в области экономических, политических и нравственных отношений страны последовал тот взрыв благороднейших эмоций и идей, который вызвал беспримерный в истории расцвет поэзии и искусства во всех их формах.

Афинам, родине Сократа, суждено было принять особенно деятельное участие в борьбе за национальное существование, и на них-то поэтому с наибольшей силою отразились все перемены. Они достигли кульминационного пункта в своем политическом и гражданском развитии: все политическое здание сверху донизу было перестроено согласно требованиям новой жизни. За каждым свободным членом афинской общины был обеспечен мак-

симум прав личных и гражданских, и, что не менее важно, пользование этими правами вменялось общественным мнением в обязанности каждому. Народное собрание – агора – было высшим политическим органом страны: оно избирало должностных лиц, обсуждало внешнюю и внутреннюю политику, Постановляло бюджет, издавало законы, отправляло правосудие и имело верховный надзор за администрацией, религией и общественной нравственностью.

Эллинская культура достигла своего зенита. Искусство – пластика, живопись, поэзия и драма – сбросило стеснявшие его архаические формы и условности и предстало во всей красоте и грации идеализированной природы. Акрополь украсился благороднейшими произведениями человеческого гения в области архитектуры и скульптуры, а на подмостках народных театров происходили музыкальные и поэтические состязания и ставились бессмертные драмы Эсхила и Софокла. Все кипело избытком сил, интеллектуальных и физических, идеи сталкивались и скрещивались, мнения сходились и шлифовались, и вся духовная жизнь билась ускоренным и горячим пульсом.

В такой среде вырос Сократ, и можно смело утверждать, что лучшей воспитательной обстановки было бы трудно желать. Он унаследовал от отца его ремесло, и вплоть до II века н. э. по дороге к Акрополю иностранцам показывали группу одетых в покрывала Харит (граций), которая приписывалась Сократу. У нас нет никакой возможности решить, в самом ли деле эта группа была его работой, но мы тем не менее вправе усомниться в этом, встречая многочисленные заверения, что он оставил свое ремесло рано и, по-видимому, никогда не чувствовал большой любви к нему. Сомнительные авторитеты передают, что 25 лет от роду он встретил Протагора, знаменитого философа того времени, который своими речами и идеями произвел такое сильное впечатле-

ние на его восприимчивую натуру, что, Сократ решил посвятить себя исключительно философии. Особенно невероятного в этом нет, как нет его в другом предании, приписывающем решающее значение для мысли Сократа встрече его с Аспазией. Как бы то ни было, Сократ довольно рано почувствовал стремление к философской деятельности, но только после долгой, почти 15-летней работы мысли, – о которой, к сожалению, до нас не дошло никаких сведений, – он решился вступить на публичное поприще в качестве учителя философии. Это не значит, конечно, что все эти годы он провел в совершенном уединении и неизвестности, разрабатывая свое мирозерцание, а затем, подобно Афине-Палладе, выскочившей в полном вооружении из головы Зевса, явился в одно прекрасное утро на городскую агору с готовой и стройной системой идей. Дело, вероятно, обстояло так, что, не бросая еще своей профессии, он все больше и чаще занимался проблемами философии, то раздумывая над ними за работой, то в свободное время делаясь своими мыслями с друзьями. Так дело продолжалось, быть может, целые годы, но по мере того, как взгляды его прояснялись, подобно очертаниям материка среди спадающей воды, он все чаще осмеливался выходить на площадь, затрагивать разглагольствующих там риториков, диспутировать с ними и излагать свои мнения, свои идеи. Он все яснее и яснее начинал сознавать свое превосходство над соперниками, успех стимулировал его мысль и рвение, он становился популярен, его окружала толпа, – и, наконец, бросив окончательно свое ремесло, он совершенно отдается своей новой деятельности.

Судьба наградила его женою, вульгарность и сварливость которой доставила ей такую же громкую репутацию, как супружеские добродетели другой греческой женщине – Пенелопе. То была знаменитая Ксантиппа, ставшая притчей во языцех уже тогда и продолжающая

быть таковою и поныне. Говорили, что у Сократа была еще одна жена – некая Миртона, дочь или внучка Аристиды: по одним источникам, философ был женат на ней до Ксантиппы, по другим – после нее, а по третьим – даже одновременно с нею, новейшие биографы это предание не упоминают. Во всяком случае, был ли женат Сократ однажды или дважды, или больше, – роль в его судьбе сыграла одна жена – бессмертная Ксантиппа. Как и многим другим женщинам в ее положении, ей тяжело было видеть, как муж во имя каких-то завиральных идей и понятных для нее, как китайская грамота, идеалов махнул рукой на хозяйство и семью, проводя целые дни на улицах в «бесплодных» разговорах и оставляя ее с тремя детьми не только без средств, но часто и без куска хлеба. Ее еще больше бесило, когда она видела других подобных ему «болтунов» богатеющими день ото дня, в то время, как ее Сократ, ходивший в заплатанном хитоне, с гордостью идалго отказывался от подарков и помощи, которые ему так часто и так деликатно предлагались людьми различных положений – от Архелая, царя Македонского, до собственных его учеников. Естественно, что она ему часто устраивала такие сцены, что он должен был бежать из дому, утешаясь лишь тем, что, перенося эти испытания, он приучается тем переносить другие, еще большие. Раз даже, говорят, она в сердцах облила его ушатом помоев, но философ только утерся, добродушно приговаривая, что такой катастрофы как раз и следовало ожидать, так как после грома бывает дождь. Ксантиппа не была ангелом и при людях: она не раз выгоняла из дому его учеников и друзей, осыпая из самой отборной бранью, на какую только способна вульгарная женщина. Ксантиппа, в сущности, не была злой: она лишь не понимала Сократа и, не видя материальных, то есть денежных, результатов его деятельности, естественно восставала со всею силою

своей узкой души против его «беспорядочного» образа жизни.

Сделать же из своей деятельности карьеру или профессию, как то делали другие, или, по крайней мере, обставить ее так, чтобы она доставляла ему средства к жизни, было для него решительно невозможно: по его глубокому убеждению взимание платы за преподавание или даже принятие добровольных подарков было одним из величайших актов безнравственности, какой только может совершить философ. Всем известно, какие страстные нападки со стороны Сократа, а еще больше Платона и Аристотеля, навлекали на себя так называемые софисты за то, что они взимали плату за слушание лекций и ставили ее непременным и предварительным условием допущения в число своих учеников. Правда, в ту эпоху, о которой идет речь, экономические отношения Афин благодаря значительному разделению труда в системе рыночной отчуждаемости продуктов достигли такой сложности, что человек, отдававший все свои силы и время на преподавание философии, имел право, за неимением других средств к жизни, требовать от общества необходимой поддержки; но то именно обстоятельство, что за такой поддержкой ему приходилось обращаться к лицам, приходившим его слушать, и являлось нравственной аномалией в глазах идеальных жрецов философии; они смотрели на денежные отношения между учителем и учеником как на постыдную торговлю священнейшим достоянием человеческой личности – его разумом и свободой. Обучать мудрости, то есть насаждать в сердца своих ближних нравственные идеалы и посвящать их в тайны природы и жизни, вменялось каждому человеку в долг, самый благородный и священный: отказаться от него или сделать его предметом купли и продажи казалось неслыханным преступлением.

Итак, начиная со зрелого возраста, мож-

но видеть Сократа подвизающимся в качестве учителя философии и нравственности. Сократ почти никогда не выезжал из Афин. Он не чувствовал влечения к природе и ее красотам, а предпочитал иметь дело с людьми, интересуясь ими не только как «документами», но и как дорогими братьями, нуждающимися в умственном и нравственном просвещении. С раннего утра его можно было видеть на улице. У него не было определенного места и определенных собеседников для разговоров: он ходил куда попало: на рынок, на площадь, в какую-нибудь школу, в ближайшую лавку или мастерскую, – словом, повсюду, где только мог встретить людей, интересующихся вопросами философии и этики. Его окружали ученики, и к ним скоро присоединялись поклонники, знакомые или просто любопытствующие зеваки, привлеченные странным зрелищем и странными речами. Одна фигура и манеры Сократа способны были произвести сенсацию в небольшом городке Афины – центре и фокусе античной цивилизации со всем ее блеском и лоском и поклонением формальной красоте. Низкого роста, лысый, с раздутым животом, толстой и короткой шейей, выпученными глазами, толстыми губами и вздернутыми ноздрями, Сократ казался живым сатиром, сорвавшимся с пьедестала и внезапно появившимся среди богов. Он не любил изящных приемов, которыми блистали прочие учителя философии, он говорил резко и отрывисто, не закругляя периодов и не украшая их риторическими фигурами. Его речи были речами простонародья с их безыскусственностью, прямою, грубоватостью и иллюстрациями из обыденной жизни. С первой минуты поэтому он не мог нравиться, и ничего, кроме смеха, его вид и слова не возбуждали в новичке; но стоило только прислушаться, и улыбка сходила с уст, и готовая насмешка застревала где-то глубоко в гортани: под этой непривлекательной словесной оболочкой

слушающий подмечал такую оригинальность мысли, такую смелость и широту идей, такую мощь логики, такую страсть – и все это подернуто неподражаемо тонкой иронией, – каких он не мог себе представить ни в одном человеке. Впечатление получалось огромное.

Но не одними речами околдовывал мудрец. Алкивиад, сравнивая его со статуэтками Силенов, которые продавались во всех лавках и внутри которых, если их раскрыть, можно увидеть изображения богов, указал вместе с тем на тайну обаяния сократовой личности: под уродливой и вульгарной оболочкой скрывалась такая мощная и в то же время уравновешенная натура, какая в представлении греков могла быть только у богов.

На первый взгляд Сократ может показаться холодным и бесчувственным – подобно стальной машине – мыслителем, проламывающим себе путь, не останавливаясь ни перед какими соображениями практического или сентиментального характера. Он редко входит в духовный мир своего собеседника и редко чувствует к нему ту симпатию, которая прощает чужие слабости и относится с уважением даже к предрассудкам. Собеседник был для него, прежде всего, больной пациент, которого надлежит вылечить во что бы то ни стало – даже вопреки его нежеланию, и извлекается ли он от боли под клинической сталью, протестует ли он всеми фибрами своего окровавленного сердца, вырывается ли вместе с мертвым и живое мясо, – до всего этого Сократу нет дела: он продолжает оперировать подобно хирургу, безжалостно и бесстрастно вырезая мнения и верования, которые кажутся ему вредными и ложными. С убийственной иронией осмеивал он священнейшие чувства человека, дерзкой и злорадствующей рукою сбрасывал он чужие идолы, попирая их ногами, и никогда не задумывался о том, что даже мучительную занозу следует вынимать со всей нежностью и мягкостью любящего серд-

ца. Ввиду этого неудивительно, что некоторые биографы обвинили Сократа в сухости, черствости и недостатке воображения; но это значит, по нашему мнению, упускать из виду ту черту его духовной личности, которая лежит в основе всей его деятельности и жизни, и которая – как это ни покажется парадоксальным – является причиной всей кажущейся его бесчувственности. Великие мысли, как говорит Вовенарг, исходят из сердца, и подо льдом сократовой мысли действительно текла горячая лава страсти. То была страсть его к истине. Только потому, что он так пламенно любил истину, могла развиться в нем бесчувственность к страданиям греха и заблуждения: люби он ее меньше, он был бы и снисходительнее, и мягче, но не был бы тем, чем он был.

Обратимся теперь к другим его особенностям. Все свидетельства сходятся во мнении, что от природы он был страстным и даже склонным к чувственности, но все они в один голос восторженно заверяют, что ни один человек ни до, ни после него не выработал в себе такого самообладания, такого умения держать себя в узде, как Сократ. Он был так умерен в пище и питье, что все удивлялись, как он мог жить. Круглый год, невзирая на погоду, в сильную ли жару или трескучий мороз, он носил одну и ту же плохонькую одежду и ходил босой с непокрытой головою. Одаренный крепким и сильным организмом, он еще более закалил свое тело и мог переносить лишения и труды, как никто. Под Потидеей, когда афинская армия была отрезана от обозов и страшно страдала от голода, а морозы стояли такие суровые, что солдаты редко выходили из палаток и укутывали ноги мехом или соломой, один Сократ делал свое дело как ни в чем не бывало и босиком, в своем обычном хитонишке, маршировал по снегу и льду, как по зеленой траве. Вместе с тем он не был аскет: никто дальше него не мог быть от той уродливой морали, в которую так часто впадают

другие моралисты схожих с ним взглядов. И вино, и женщины, и песни имели для него реальное значение, и если он все-таки настаивал на необходимости для всякого умерять свои желания и ограничивать свои нужды, то не из видов умерщвления плоти как седалища греха, а потому, что считал внутренний мир человека важнее физического и внешнего. «Не нуждаться ни в чем, – говорил Сократ, – значит быть божеством, а нуждаться лишь в малом – значит наиболее близко походить на него. А так как божественная природа – совершенство, то приблизиться к ней – значит приблизиться к совершенству». Он сам и был близок к этому идеалу, – не столько тем, что, живя малым, он, по словам Ксенофонта, жил вместе с тем как бы в достатке, сколько тем, что умел сохранять ясность и невозмутимость духа при всевозможных обстоятельствах. .

Рядом с самообладанием стоит его мужество, непоколебимое, спокойное, сознательное и, вместе с тем, без рисовки, которое с такою силою действовало на воображение его современников. Его хладнокровное и бесстрашное поведение на войне – в сражениях под Потидеей, Делием и других – вызывало всеобщее удивление и похвалы; но еще больше – его стойкость при столкновениях с народом и тиранами.

В 406 году, после длинного ряда неудач, афиняне, наконец, одержали при Аргинузах такую блестящую победу над лакедемонянами, что на радостях все поголовно рабы, состоявшие в экипаже флота, получили свободу и даже некоторые права гражданства. Ликование было всеобщее, но (увы!) оно вскоре было омрачено известием, что навархи (адмиралы) не только не собрали и не предали земле плавающие трупы убитых, но даже не позаботились о том, чтобы по окончании сражения подобрать увечных и раненых, предоставляя им погибать на обломках судов. Такая небрежность была в то время не менее преступна,

нежели теперь; но нужно еще вспомнить то религиозное значение, которое древние греки придавали обряду погребения умерших, – обряду, без которого душам последних приходилось скитаться по берегам Стикса без приюта до скончания веков. Негодованию на победоносных, но преступных навархов не было пределов. Их вытребовали к суду, и народ настаивал, вопреки писанным законам конституции, на поголовном осуждении и наказании обвиняемых. Напрасно утверждалось, что это требование незаконно, что оно идет вразрез с основными принципами гражданской свободы и что, наконец, имеются обстоятельства, извиняющие если не всех, то, по крайней мере, некоторых из злополучных навархов: народ неистовствовал и шумел, как расходившееся море, отказываясь выслушать обвиняемых и настаивая на немедленном и коллективном их наказании. Пританы – председательствующая триба – должны были сдаться на угрозы и, после некоторых размышлений, малодушно решили поставить на голосование вопрос о виновности навархов в желательном народу смысле; только один из них отказался дать свое согласие на такое незаконное действие суда: то был Сократ. Несмотря на дикие угрозы народа и общие клики бешенства и ярости, он спокойно, но решительно заявил свой протест против такого явно несправедливого и нелюбезного поведения суда и оставил собрание, предпочитая встретить мучительную смерть от рук разъяренной толпы, нежели быть соучастником в преступлении.

Другой случай произошел двумя годами позже, когда афинским государством правили пресловутые тридцать тиранов. Захватив власть и укрепив ее за собою при помощи спартанских мечей, они ударились в террористическую вакханалию: конфискации имущества, тюремные заключения, ссылки, казни и прочие насилия сыпались градом на головы выдающихся по своему влиянию или богат-

ству, или убеждениям граждан. Между прочим, боясь острого языка Сократа, они еще в начале своего правления издали указ, запрещавший философам обучать искусству аргументировать и спорить (эвристике), и Сократ чуть не заплатил за свое упрямство. Ввиду многочисленных казней Сократ однажды публично заметил: не странно ли, что в то время как пастухи, у которых стада почему-то уменьшаются, считаются негодными, – правители, при которых население также по каким-то таинственным причинам убывает, продолжают смотреть на себя как на людей способных и годных к взятой на себя роли? За это тираны призвали его к себе и, сделав строгое внушение, посоветовали ему держать язык за зубами и не употреблять впредь никаких иллюстраций и притч о пастухах, так как, в противном случае, Сократ собственной своей персоной поспособствует уменьшению народного стада. Намек был достаточно ясен и циничен, но все же Сократ дешево отделался, – быть может, благодаря заступничеству Крития, главаря тридцати и бывшего слушателя Сократа. Но уже вскоре представился другой и более благовидный случай погубить мудреца: ему и четверым другим популярным горожанам поручено было отправиться на остров Саламин и привезти оттуда некоего Леона, демократа с большими средствами, бежавшего от преследований олигархов. Это была одна из обычных уловок хитрых правителей, старавшихся связать со своей судьбою сколь возможно больше людей, если не сочувствием, то своекорыстием, а если не последним, то хоть соучастием, вольным или невольным, в преступлениях. Сократ был слишком умен, чтобы клюнуть на такую грубую удочку, и слишком честен, чтобы играть роль, и вот в то время, как его товарищи беспрекословно повинуются гнусному приказу, он невозмутимо, как ни в чем не бывало, отправляется домой и спокойно ждет своей участи. Гибель его была неминуема, но,

к счастью, вскоре камарилья была свергнута и Сократ был спасен.

Что в этих поступках Сократа поражает больше всего – это совершенное отсутствие драматических моментов, которые все привыкли ожидать всякий раз, когда видят столкновение эгоистических интересов с требованиями долга или убеждений. Сократ не раздумывает, не рефлексует, не рассуждает, а просто в силу инстинктивного тяготения ко всему хорошему и честному избирает путь, на который ему указывает совесть и на который он вступает с таким же легким сердцем, как если бы его ждали розы, а не смерть. Античному обществу, еще не дошедшему до духовного раздвоения и не видевшему красоту нигде, кроме как в здоровой и совершенной гармонии всех сил человеческого существа, личность Сократа должна была казаться высшим проявлением божественного гения, одним из совершеннейших идеалов счастливого человечества.

Теперь можно сказать два слова о его пресловутом «демо́не». Очень часто, когда Сократ предпринимал решение, либо важное само по себе, либо шедшее вразрез с ожиданиями его друзей, он ссылался на голос «демона», запретивший ему поступить иначе, как он поступил (голос этот только возбранял, но никогда не побуждал). Уже с давних пор придумывались гипотезы о том, что бы такое этот демон мог собою обозначать. Одни считают этого демона ангелом-хранителем или, по крайней мере, гением Сократа; другие полагают, что то был голос его совести; третьи, в истом духе современной психопатологии, утверждают, что Сократ был просто-напросто одержим психозом, периодически подвергавшим его галлюцинациям, а четвертые совсем не верят в демонов и говорят, что ссылка Сократа на них была не больше, чем желание помистифицировать почтеннейшую публику, – желание, вполне объяснимое его любовью к иронизированию. Но

гипотезы о том, чем был демон на самом деле, нисколько не помогут нам ни полнее оценить личность Сократа, ни лучше понять его учение. Мы предоставляем поэтому читателю полную свободу выбирать между вышеуказанными теориями, равно как и выдумывать свою собственную.

Приступая к обзору учения Сократа, мы в самом начале встречаем крупное затруднение. Сам философ, за исключением пары стихотворных переложений на Эзоповы темы, сделанных им за несколько дней до своей смерти, никогда в своей жизни не написал ни строчки, и все, что мы знаем о нем или о его учении, мы почерпнули, главным образом, из Ксенофоновых «Воспоминаний» о Сократе и из диалогов Платона. Что касается первых, то они, при всей несомненной правдивости и честности автора, страдают большими недостатками: написанные уже после смерти Сократа, эти «Воспоминания» имели исключительной своей целью ответить на те обвинения, жертвою которых пал любимый учитель. «Воспоминания» касаются личности философа лишь настолько, насколько это необходимо для реабилитации памяти покойного, а учение его излагается лишь в том объеме и тех аспектах, которые имеют отношение к вопросам о неверии и развращении молодого поколения.

При таких условиях мы вряд ли сумели бы составить себе более или менее отчетливое представление о Сократе и его деятельности, если бы на подмогу не явился другой ученик Сократа, Платон. Про него уже нельзя сказать, что он не понимал своего учителя; но и он, взятый сам по себе, не мог бы служить вполне надежным путеводителем. Платон сделал Сократа носителем и выразителем своих идей: в диалогах его фигурирует не он сам, а Сократ, который ведет разговор, развивает Платоновские доктрины, аргументирует, защищает, опровергает противников и пр., так что иногда очень трудно, а подчас прямо-

таки невозможно различить, где говорит Платон устами воображаемого Сократа и где говорит исторический Сократ сам. Тем не менее, в общей верности набрасываемого портрета и в подлинности там и сям обрисовывающейся сократовой доктрины мы не имеем основания сомневаться. Знаменитая «Апология Сократа» и, в несколько меньшей степени, диалоги «Федон» и «Критон» составляют для нас главные авторитеты, и при дополнении их сведениями, взятыми у Ксенофонта, нам удастся, – далеко, не полно и не совершенно, но все же в общем правдиво, – составить себе некоторое представление о том, чему учил афинский мудрец.

В «Апологии» Сократ рассказывает, как один из наиболее горячих его поклонников Херефонт отправился однажды в Дельфы спросить оракула, кто самый мудрый из всех людей. Пифия ответила, что мудрее всех, без сомнения Сократ, и последний решил добиться смысла этого загадочного ответа, так как сам лично он сознавал себя не только не мудрецом, но прямо-таки круглым невеждою. Он начал сравнивать себя с другими людьми: и отправился к одному из выдающихся общественных деятелей, почитаемому всеми за чрезвычайно умного и знающего, и вступил с ним в разговор. Увы! он скоро должен был признать, что тот, в сущности, ничего не знает, как и он сам, и что только другие почему-то почитают его за мудреца. «Тогда я оставил его и подумал: хотя я и не верю, чтобы кто-нибудь из нас обоих действительно знал, что такое истина, добро и красота, но за мною все-таки то преимущество, что в то время, как он ничего не знает, но думает, что знает, я точно так же ничего не знаю, но вместе с тем сознаю, что я ничего не знаю». Он идет к другому и третьему деятелю подобной репутации, но находит везде одно и то же самомнение невежества. Тогда он обращается к поэтам, этим толкователям законов боже-

ских и человеческих, и предлагает им объяснить некоторые отрывки из их же сочинений. И что же? «Поверите ли, мне почти стыдно говорить об этом, но я должен признаться, что вряд ли есть человек, который не мог бы лучше истолковать поэзию нежели поэты сами. И я понял, что не мудростью творят поэты поэзию, а каким-то особенным духом и вдохновением: они, подобно прорицателям, произносят прекрасные вещи, не понимая их смысла». И, что всего хуже, эти люди не только не мудры, но еще, «опираясь на свою поэтическую славу, претендуют на исключительную мудрость даже в таких вещах, которые к сфере их деятельности вовсе не относятся и которым, в сущности, они совершенно чужды». После этого Сократ идет к художникам и ремесленникам, но здесь встречает то же самое: хотя в своей специальности они и мудрее прочих людей, но они разделяют общее с поэтами заблуждение, считая себя мудрыми даже в таких вещах, о которых они не имеют ни малейшего представления. Тогда только выяснился Сократу смысл Аполлоновых слов: он такой же невежда, как и все прочие люди, но он уже тем мудрее их; что сознает это самое свое невежество. Этот рассказ имеет для нас первостепенное значение: он сразу раскрывает перед нашим взором основной характер и основную точку зрения сократовского мирозерцания. Истинный смысл Сократовского сознания своего невежества – это не скромное или смиренное заявление своего незнакомства с теми или другими отраслями знания, как это принято думать, а грандиозное завоевание человеческого разума, – целый переворот в системе философского мышления. Сократ первый стал настаивать на изучении человеческого духа как важнейшего объекта человеческого познания, – и в этом заключается его бессмертная заслуга перед европейской философией.

Сократ делал нравственность не только

важнейшим, но и единственным предметом, достойным изучения. Труды современных ему философов казались ему смешными. Неужели, – говаривал он, намекая на занятия их астрономией и космологией, – неужели эти господа считают свое знакомство с человеческими делами настолько полным и совершенным, что находят возможным заниматься небесными? Ему даже казалось непонятным, каким образом вообще возможно дойти в этих областях до истины, когда нет ни одного положения, на котором все философы сходились бы и смотрели как на установленный факт: одни считают, что все существующее – едино, а другие, – что оно бесчисленно; одни, – что все движется, а другие, – что все находится в абсолютном покое; одни, – что в мире все рождается и погибает, а другие, – что ничто не рождается и ничто не погибает. Где же, в таком случае, искать правды? А если даже она и будет найдена, то кому и какая от этого польза? Разве эти ученые смогут произвести дождь? или изменить порядок времен года? или удлинить день и укоротить ночь? Нет, решает Сократ, все это – мнимое и бесцельное знание, которое нисколько не касается человека и ни на волос не увеличивает его счастья. Истинная и реальная наука – та, которая занимается вопросами животрепещущего, земного, человеческого интереса, как, например, вопросами о том, что есть благочестие и что нечестивость, что – справедливость и что несправедливость, что храбрость и что трусость, что есть государство и. что государственный человек, и т. д., и т. п.

Взгляды Сократа на сравнительную важность тех или других наук имеют за собою огромную долю исторической правды: его устами говорила эпоха.

Коренное изменение в общественно-политических отношениях страны, выразившееся в крушении старого аристократического порядка и замене его демократической конститу-

цией, было лишь сигналом к массовому восстанию против всей совокупности понятий и идей, существовавших доселе как незыблемые истины. Жизнь Афин, как и всех гражданских общин древности, покоилось на целой системе религиозно-нравственных и политических понятий, выработанных трудами многочисленных поколений и передаваемых из века в век. Эти освященные традициями понятия казались чем-то стоящим выше человеческого разума: они считались божественного происхождения, и, как таковые, вечными, непреложными, неприкосновенными. Но развитие на почве реальных условий жизни демократического духа с его требованиями личных и равных прав для каждого отдельного члена общества нанесло смертельный удар всем этим устаревшим основам социальной жизни: гражданская личность, достигнув своего самосознания, не остановилась перед древними понятиями и верованиями. Одна за другою прадедовские идеи стали призываться на суд критического разума, и одна за другою они признаны были негодными.

Софисты были деятелями этой эпохи, с тою, однако, особенностью, что они являлись не только теоретическими мыслителями, но и практиками, которые с киркою и заступом в руках ломали обветшалое здание. Под ножом их скептического разума старые понятия разрушались одно за другим: прежние истины оказались ложью, старые обычаи – творением хитрых и своекорыстных правящих классов, а древние общественные узы – одной лишь тиранией. Личный разум индивида занял верховное место как в политике, так и в морали, и все, что не в состоянии было оправдаться на суде этого разума, признано было обманом. «Человек есть мера всех вещей», – гордо провозгласил Протагор, наиболее блестящий вождь софистов: не только свойства, но и самое существование вещи зависит от суждения разумной личности. На место объектив-

ных вещей ставятся индивидуальные мнения о них, уже одним своим разнообразием доказывающие нереальность этих вещей и невозможность во всяком случае какого бы то ни было знания их. Такое крайнее развитие индивидуализма, такой, если можно так выразиться, философский анархизм, был лишь логическим выводом из тех посылок о державности личного разума, во имя которых эти деятели разрушили древний мир понятий и отношений. Но именно эта сильная сторона была вместе с тем и слабой. Общественное сознание не может долго жить одним отрицанием, и деятельность общества лишь на короткое время в состоянии ограничиться одним разрушением: как только поле очищено от старого хлама, на сцену появляются иные запросы, имеющие своей целью уже не дальнейшее разрушение старого, а созидание нового. Горе тому, кто, увлекшись своей работой или не поняв изменившегося характера общественных нужд, не сумеет остановиться вовремя и станет продолжать дело разрушения! Сделавшись живым анахронизмом, он навлечет на себя насмешки, а потом ненависть со стороны тех, кто трудится над созиданием. Именно такова была судьба позднейших софистов, которых и имели в виду Платон и Аристотель. Не Протагор и не Горгий служили им мишенью, а те эпигоны их, которые пережили самих себя и превратились в своекорыстных отрицателей без убеждений и без совести. Этих-то эвристиков, безнравственных спорщиков о чем угодно и как угодно, драпировавшихся в устаревший и более уже не идущий им плащ софистов, и обесмертили вышеупомянутые писатели, совершив, однако, непростительную ошибку тем, что не провели достаточно ясной грани между обоими поколениями софистов: до и после сократовских.

Во всем этом Сократ сыграл главную роль: ему греческая мысль была обязана своим поворотом в сторону положительного построе-

ния, и, стало быть, он был виновник нравственного банкротства софистов и гибели репутации их.

Глубоко понимая потребности своего времени, Сократ, как и все прочие передовые деятели той эпохи, решительно восставал против всех старинных преданий и авторитетов и в основу своего учения о нравственности положил не эти последние, а тот новый принцип – разум, который в этот момент впервые был вызван к жизни. Для него, как и для Протагора, критическая мысль личности была мерою всех вещей, а следовательно, и истины интеллектуальной и нравственной; но в то время, как великий вождь софистов воспользовался этим могучим рычагом с исключительно целью опрокинуть господствовавшее дотоле мирозерцание, Сократ сделал его краеугольным камнем, на котором он выстроил новое этическое здание.

Сократу недостаточно было, чтобы тот или другой поступок личности был нравствен в силу унаследованных инстинктов или выработанных привычек, или по случайности: он требовал большего, а именно: чтобы эта личность отдавала себе всякий раз ясный отчет, почему она поступила так, а не иначе. Без этого нравственности в полном значении этого слова нет, и как бы человек хорошо ни поступал по тем или другим; причинам, он, если не поступил сознательно, без ясного понимания, почему и как, остается с точки зрения истинной этики таким же безнравственным, как если бы поступал плохо. Разве, спрашивает Сократ, можно назвать грамотным того человека, который по счастливой случайности, но не имея представления о законах правописания, напишет какое-нибудь слово правильно? Разве можно признать кого-либо математиком исключительно потому, что он по какому-то наитию, а не в силу твердо усвоенного знания, угадал, что $5 \times 5 = 25$? Конечно, нет; а если так, если для того, чтобы иметь право назы-

ваться грамотным или математиком, недостаточно еще простого и случайного факта правильного написания слова или верного ответа на предложенный арифметический вопрос, но требуются сверх и помимо того еще соответствующие знания причины и цели, так чтобы акт находился в исключительной зависимости от сознательной воли, то и нравственным можно назвать лишь того, кто поступает правильно не под влиянием темных инстинктов и не по случайности, определяемой игрою слепых обстоятельств, а в силу известных требований сознательного разума, который усвоил надлежащие принципы и направляет согласно с ними практическое поведение.

Отсюда вытекает первый основной принцип сократовой этики о тождестве добродетели со знанием. Добродетель как источник или творческое начало нравственности представляет такой же предмет изучения, как и грамота или арифметика, и только тот может быть по праву назван добродетельным, или, что то же, нравственным, кто этим предметом так же вполне и сознательно владеет, как грамотный – грамотой и математик – арифметикой. При этом даже не важно, каковы на самом деле будут его поступки, – нравственны или нет: пусть они будут безнравственны, но если человек, совершивший их, обладает необходимым знанием добродетели, то его по справедливости можно назвать нравственным. «Не кажется ли тебе, – обращается Сократ к одному из своих друзей с целью выяснить этот характерный пункт, – что, подобно тому, как можно выучиться чтению и письму, так можно изучить и знать, что такое справедливость?» – «Пожалуй». – «А кто, по-твоему, более сведущ; тот ли, кто умышленно читает или пишет с ошибками, или тот, кто делает это невзначай?» – «Конечно, первый, так как, если захочет, то он сможет и читать, и писать правильно». – «Значит, того, кто умышленно пишет с ошибками, мы назовем более грамот-

ным, нежели того, кто делает это неумышленно, – не так ли?» – «Совершенно верно». – «Ну, а кто же, по-твоему, из двух скорее знает, что такое справедливость: тот ли, кто лжет и обманывает умышленно, или тот, кто делает это неумышленно?» – «Без сомнения, первый». – «Но так как того, кто умеет читать и писать правильно, мы назовем более сведущим, нежели того, кто не умеет, то не более ли справедлив тот, кто знает, что такое справедливость, нежели тот, кто не знает?» – «Да». – «Стало быть, тот, кто обманывает умышленно, более справедлив, нежели тот, кто обманывает неумышленно».

По мнению Сократа, человек, обладающий знанием добродетели или, точнее, того, что под ней подразумевается, не может не поступать так, как того требует эта добродетель, так что, зная, например, в чем состоит мужество или умеренность, он всегда будет поступать и жить согласно с указаниями мужества и умеренности. Знать и не поступать так, как, человек знает, ему следует поступать, казалось Сократу физической невозможностью и логическим противоречием. Добродетель и знание тождественны, таким образом, не только в том смысле, что обладание последним дает право на звание нравственного человека, подобно тому, как обладание знанием грамоты дает право на звание грамотного человека, но еще больше в том, что обладание знанием добродетели ведет неизменно и к приложению его на практике.

Люди действительно отклоняются от пути добродетели, но не оттого, что он на самом деле не благий а потому, что они по неразумению, по непониманию принимают его за таковой. Если бы они хорошенько вникли в интересующий вопрос, то они ясно увидели бы, как тесно связано счастье их с добродетелью; и как резко противоречит ему порок; и именно потому, что они, как и все прочие живые существа, желают себе счастья, они и избрали

бы истинный путь к нему, то есть добродетель.

Только там, где ясного понимания всеблагодети добродетели нет, где люди принимают за путь к счастью то, что вовсе не ведет к нему и обратно, имеет место та безнравственность, которую мы привыкли встречать в жизни на каждом шагу. Нелогичность мышления, ошибка в расчете, неверность сравнительной оценки средств и целей – вот источники безнравственных поступков и даже, иной раз, убеждений: уничтожьте одни – исчезнут и другие.

Так мог бы ответить и действительно отвечал Сократ: в ряд с первым принципом о тождестве добродетели со знанием он ставил другой – о тождестве ее с благом, и неустанно повторял, что именно потому, что человек постоянно, при всех своих поступках, имеет в виду счастье, он непременно будет следовать добродетели как наиболее верному средству к достижению его. Мы вправе спросить, не противоречит ли Сократ, строя свое учение на принципе личного эгоистического счастья, основному своему взгляду на добродетель не как на средство, а как на цель, и притом высшую цель жизни? Мудрец этого не замечал и, со страстною настойчивостью глубоко убежденного человека, продолжал утверждать любимый тезис и основывать этику на своекорыстии человека, для которого нет цели выше личного блага и который и добродетель-то самое избирает лишь оттого, что она ведет к этой цели. Целесообразность является, таким образом, как бы высшим оправданием и рекомендацией нравственности, и ею определяется даже то благо, с которым она, эта нравственность, отождествляется. Для него, как и для всех его современников, абсолютное и неизменное погубило навеки вместе со всем старинным мирозерцанием. Благо, равно как и красота, перестали уже существовать сами в себе, как нечто раз навсегда определенное и независимое от других вещей; они стали вы-

ражать лишь отношение, беспрестанно меняющееся, между двумя или несколькими вещами, стоящими одна от другой в зависимости от средств и целей. Сократ поэтому учил, что всякая вещь хороша и прекрасна лишь по отношению к тем целям, к которым она приспособлена, так что даже мусорный ящик может быть прекрасной вещью, а золотой щит – уродливой, если первый отлично служит своему назначению, а второй – нет. «Что является благом на случай голода, – иллюстрировал он, – может оказаться злом в применении к лихорадке и, наоборот, что представляет благо на случай лихорадки, может оказаться злом на случай голода; точно так же и то, что полезно для состязания в борьбе, не всегда является таковым в состязаниях в беге и обратно». Благо, словом, есть не что иное, как целесообразность или полезность вещи, и, в этическом отношении, оно разрешается, в сущности, в пользу или выгоду личности на тот или другой случай!

Такова в общих чертах сократова философия в том неполном и несовершенном виде, в каком она дошла до нас.

Опишем теперь вкратце метод, которым Сократ пользовался для выработки определения. Сократ не преподносил своих истин готовыми, но, считая, что только то знание единственно прочно и ценно, которое добыто самим мыслящим субъектом, он заставлял своих собеседников принимать деятельное участие в установлении посылок, в выведении заключений, в проверке положений – словом, во всем логическом процессе аргументации. Ум человека, по мнению Сократа, чреват истинами, которые требуют лишь известного ухода и, в крайнем случае, операции, чтобы явиться на свет Божий. Эти истины подобны младенцам, скрытым во чреве матери, и роль философа в том и состоит, чтобы помочь родильнице-разуму в ее родах. Оттого Сократ любил себя сравнивать с акушером, который сам не ро-

жает, но помогает рожать другим. И исходной точкой Сократа всегда почти служило общепринятое мнение по данному вопросу, которое затем, целым рядом проверок и поправок, постепенно изменялось так, чтобы охватить те или другие факты и, наконец, получить то содержание и ту форму, которые желал Сократ. Для иллюстрации приведем из Ксенофонта один из наиболее характерных разговоров, который Сократ имел с молодым, но самоуверенным Эвтидемом. Заполучив от своего собеседника уверение, что он отлично знает, что такое справедливость и что нет, Сократ просит его объяснить, что он понимает под этими терминами. «Так вот, хочешь, – говорит он, – мы здесь напишем альфу, а здесь – дельту, и все, что справедливо, мы поместим под дельту, а что несправедливо – под альфу». – «С удовольствием». – «Ну, сделано. Теперь скажи мне: существует ли на земле ложь?» – «Конечно». – «Под какую букву поместить ее?» – «Под альфу, несомненно». – «А обман существует?» – «Тоже». – «Куда ее прикажешь поместить?» – «Туда же, что и ложь». – «А куда отнесем мы такие поступки, как, например, обращение людей в рабство, к справедливости?» – «О, нет: под альфу, конечно». – «Но скажи, – после минутного молчания спросил вдруг Сократ, – если полководец обратит в рабство нечестивый и неприятельский народ, будет ли этот поступок несправедливый?» – «О, нет». – «Не назовем ли мы этот поступок скорее справедливым?» – «Конечно». – «А если в военное время он станет обманывать врагов, – справедливо ли это будет или нет?» – «Без сомнения, справедливо». – «А если увезет их имущество?» – «Тоже справедливо. Но, – продолжает Эвтидем, – я думал, что, предлагая свои вопросы, ты имеешь в виду наши отношения к друзьям только». – «Очень жаль, но все равно. Нам, стало быть, нужно сделать кое-какие поправки и поместить под дельту то, что было отнесено к альфе?» – «Да, конеч-

но». – «Значит, ты согласен, что, размещая вышеозначенные поступки под разные рубрики, мы должны еще руководствоваться тем соображением, что для врагов они будут справедливы, а по отношению к друзьям – несправедливы и что по отношению к последним нам вообще надлежит быть сколь возможно прямее?» – «Без сомнения, так». – «Ну хорошо. Но что если этот самый полководец, заметив в своей армии признаки малодушия, вздумает обмануть ее ложным известием о скором прибытии помощи и обозов и тем самым возвратит ей мужество и уверенность в своих силах? Будет это справедливо или несправедливо?» – «Думаю, что справедливо». – «А если отец, когда сын его болен, но не хочет принимать лекарство, обманет его и подаст ему микстуру под видом вина и тем возвратит ему здоровье, – отнесем ли мы этот поступок к дельте или альфе?» – «Конечно, к дельте». – «А если кто-нибудь, видя своего друга в большом отчаянии и боясь со стороны его каких-нибудь безрассудных поступков, украдет у него меч или другое оружие, – будет это справедливо или нет?» – «Конечно, справедливо». – «В таком случае, ты признаешь, что даже по отношению к друзьям мы не всегда должны быть прямы и откровенны?» – «Да, признаю и беру назад то, что я сказал раньше».

Приведенного отрывка достаточно, чтобы понять сущность сократова метода: она заключается в достижении положительных заключений путем отрицательных инстанций, а это, как известно, составляет сущность и индуктивного метода.

Диалектический метод произвел целую революцию в приемах греческого мышления: истина перестала приниматься на веру, в силу ли окружающего ее авторитета или «горячего слова убеждения»; она стала объектом разумного понимания, требующим сознательной работы мысли, и покоилась на критически выработанных устоях. С другой же стороны, стал

невозможен и догматизм: отрицательный процесс сократова метода, подобно тем химическим реагентам, против которых могут устоять одни лишь благородные металлы, безжалостно разрушал все, что покоилось на глиняных ногах: мнения, не имевшие за собою ничего, кроме популярности или привычки, падали и разбивались как истуканы, сброшенные неверующей рукой, и только те из них имели шансы уцелеть, которые могли указать на происхождение более высокое, нежели пред-рассудок.

В заключение упомянем о религиозных и политических убеждениях Сократа. По-видимому, его понятия в религии не шли дальше общепринятых. Он твердо верил в оракулов, знамения и жертвоприношения и вменял каждому гражданину в обязанность почитать национальных богов в установленной форме. Но это только по-видимому. Мы не решимся сказать, что он возвысился до безусловного признания Единого Бога, но греческое многобожие с его наивным антропоморфизмом перестало, по-видимому, его удовлетворять: он уже видел в Божестве Разумного Творца и Правителя вселенной, к которому понятия нашего конечного разума совсем почти неприменимы. Он учил, например, что никто не обязан делать богам приношения не по своим средствам, ибо в глазах божества тот, кто подносит малое из малых средств, ничуть не хуже того, кто подносит большое из крупных средств: в противном случае, злые люди часто, а богатые люди постоянно были бы угодны небу. Боги в дарах не нуждаются, а если все-таки интересуются ими, то лишь постольку, поскольку в них выражается благочестие подносящего. Точно так же считал он непозволительным и богохульным просить Бога о тех или других определенных благах, вроде богатства или власти или даже здоровья: он полагал, что по своей бесконечной доброте и всеведению боги лучше, чем люди, знают, что есть

благо вообще и что есть благо в частности для того или другого человека, на тот или другой случай. Кроме того, Сократ первый систематически стал доказывать бытие и всеблагость Бога тем способом, который позднее, под именем телеологического, получил широкое значение в христианском богословии. Исходя из того, что разумное и целесообразное не может не предполагать творящего и упорядочивающего разума, Сократ старается показать эту разумность и целесообразность в природе, ее устройстве и явлениях, Он указывает на наши органы чувств, так чудно приспособленные к восприятию различных впечатлений, на глаза, приспособленные к зрению, ноздри – к обонянию, язык – к вкусу, веки – к закрыванию глаз на ночь, ресницы – к предохранению их от ветра, брови – к защите их от лобного пота, и т. д. Он описывает, как мудро расположены все эти органы и как разумно устроены наши инстинкты и страсти, а затем переходит к доказательству того, что все это имеет в виду благо человека и ничье другое. Из всего этого, в связи с очевидными фактами оракулов, знамений и других форм откровения, Сократ выводит заключение о том, что боги не только существуют, но и заботятся о нас, как об избранных творениях.

Что же касается его общественно-политических взглядов, то при оценке их не следует упускать из виду того своеобразного характера, какой носила тогдашняя эпоха. Афинская политика была еще, по-видимому, в полном цвету: все старания и попытки поземельных классов устранить с политической арены народную массу и поставить у кормила власти аристократическую олигархию, казалось, были бессильны надломить крепость гражданского самосознания; заговоры их оканчивались всякий раз плачевным фиаско, и народ все еще продолжал быть носителем державности как в конституционной теории, так и на практике государственной жизни. Вместе

с тем, под разлагающим влиянием денежного хозяйства, обратившего одну часть населения в алчную коммерческую буржуазию, а другую – в паразитическую городскую чернь, устои афинского общества стали подтачиваться нравственной и политической деморализацией, и на общественном горизонте стала все яснее и яснее вырисовываться надвигающаяся тень деспотизма и рабства. Людью стало овладевать безотчетное беспокойство, им казалось, что корни зла, настоящего и грядущего, следует искать в той неподготовленности к политической жизни и разрешению задач государственного правления, которую обнаруживали как низшие, благодаря невежеству и легкомыслию, на которые они осуждены своим образом жизни и родом деятельности, так и высшие, ослепляемые честолюбием и властолюбием. Спасение возможно лишь в одном случае, а именно тогда, когда у государственного руля будут стоять отборнейшие, лучшие и образованнейшие люди – «аристократия» в настоящем и буквальном значении этого слова.

Платон, как известно, был первый, кто сформулировал эти взгляды с ясностью и точностью систематического мыслителя; но учителем его был Сократ. Для него, Сократа, как и для всякого грека того времени, личность отдельно от общества и общественных интересов казалась невыносимой, и он неустанно требовал, чтобы каждый гражданин нес какую-нибудь общественную службу в той или другой форме. Его концепции о призвании и ответственности политического деятеля были столь высоки, что он требовал специального образования и подготовки для всех тех, кто хотел бы посвятить себя государственным делам, и он готов был устранить от непосредственного заведования политикой – внешней и внутренней – всякого, кто по своей неспособности или другим причинам мог бы принести своей деятельностью больше вреда, неже-

ли пользы. Он зло смеялся над теми теоретиками демократии, которые считали способ выбора должностных лиц посредством жребия из всей народной массы наиболее разумным и целесообразным. «Разве, – говорил он, – мы выбираем таким путем кормчего, флейтиста, архитектора или другого какого специалиста? А ведь ошибки, которые они могут совершить при выполнении своих обязанностей, ничтожны в сравнении с ошибками государственных людей!» Ему казалось смешным и нелепым вручать заботу о безопасности и благополучии общины «невежественной городской черни», и его презрение к народному собранию, состоявшему из нее, часто переходило за должные границы.

При этом он никогда не думал отнимать у народа державности, а напротив, считал народную санкцию законам и мероприятиям правителей за необходимое условие общественного благополучия и прогресса. Всякое правительство, в чьих бы руках оно ни находилось – аристократии ли или плутократии, – которое правит государством с согласия народа и по законам, им установленным, он считает нормальным; всякое же другое он называет тиранией.

Ни философское учение, ни диалектические приемы Сократа не могли прийтись по вкусу большинству его современников. И вот в апреле или мае 399 года до н. э. – мы в точности не знаем ни числа, ни месяца – три афинских гражданина – один из них богатый и влиятельный демократ кожевник Анит, личный недруг философа, другой – неизвестный нам поэт Мелит, а третий – довольно популярный ритор Ликон – представили на народный суд Гелиастов следующее обвинение против Сократа: «он нарушает законы государства, не признавая национальных богов и вводя новые, а также развращает молодое поколение».

Что касается первого из этих пунктов, то, вспоминая идеи Сократа о Боге и становясь

на точку зрения того века, нельзя не признать, что до известной степени он был основателем. Правда, Сократ аккуратно исполнял обязанности, требуемые греческой религией, приносил жертвоприношения и искал совета у прорицателей и оракулов; но его отвлеченные понятия о Божестве как о Верховном Разуме, совершенно недоступном ни нашим взорам, ни нашему уму, шли вразрез с конкретными представлениями его сограждан, создававших своих богов по своему же собственному образу и подобию. К тому же и злополучный его «демон» был такой же таинственностью для афинян, как и для нас, но в то время, как мы не обращали бы на него никакого внимания или объясняли бы личными особенностями философа, афиняне, как оно и естественно было для того времени, усмотрели в нем новое и неизвестное божество, к которому Сократ прибегал и охотнее, и чаще, нежели к национальным богам. Всякий знал, конечно, что Сократ не только сам выполнял свои гражданские обязанности с редкою добросовестностью, но и требовал того же от других: даже на свою собственную философскую деятельность он смотрел не иначе, как на служение обществу, – служение тем более высокое и ценное, что, не будучи, правда, непосредственным, оно подготовляло, однако, многочисленных граждан, которые своим умственным развитием, нравственной чистотой и высоким сознанием долга и ответственности могут оказать ему, этому обществу, громадные услуги. Были и другие обстоятельства, которые придавали обвинению широкую популярность. С одной стороны, его отрицательного отношения ко всем освященным стариною идеям и верованиям было достаточно, чтобы навлечь на него свирепую ненависть со стороны консерваторов-аристократов; и действительно, уже 24 года тому назад знаменитый Аристофан по этому самому вопросу о разращении юношества выставил его в своей

комедии «Облака» главою софистов и осыпал его злыми насмешками и инсинуациями. Но, с другой стороны, и для демократов, сторонников нового порядка, он не мог быть желанным пророком со своими постоянными указаниями на недостатки существующей конституции и своим пристрастием к правлению «лучших» людей. Ему не раз выставляли на вид опасность для молодых умов такого рода мнений и в виде доказательства приводили примеры двух бывших его учеников, Крития и Алкивиада, из которых первый стал во главе аристократической реакции и был одним из тридцати тиранов, а другой изменил своему отечеству и предался его врагам. Напрасно Сократ и его друзья доказывали нелепость подобного рода обвинений, утверждая, что и тот, и другой приходили к Сократу учиться не мудрости, а лишь диалектическому методу, который мог им быть полезен в прениях в народном собрании; напрасно они дальше указывали, что далеко не все ученики Сократа были Критиями и Алкивиадами, а что среди них были такие люди, как Херефонт, – пламенный патриот и сподвижник Тразибулла: на них не обращали внимания. Общее направление сократовых учений слишком, казалось, говорило против мудреца, чтобы единичные факты могли иметь какое-либо значение: то были скорее счастливые исключения, нежели правила, и, как таковые, их можно смело игнорировать.

Успеху же обвинения способствовали, главным образом, два обстоятельства. Во-первых, большинство судей были убежденные демократы, которые, вернувшись из ссылки под предводительством Тразибулла, с оружием в руках завоевали гражданскую свободу и, по низложении тридцати тиранов, восстановили прежнюю демократическую конституцию. Для таких людей человек, смеявшийся над системой выборов посредством жребия и презрительно относившийся к державному народному собранию, «как к куче фальшивых

монет, даже бесконечное количество которых нисколько не уменьшает негодности их», казался ходячим оскорблением, – лицом, которым дорожить, несмотря на прочие его достоинства, не было большой причины. Во-вторых же, среди этих судей и их знакомых, вероятно, немало было таких, с которыми Сократ не раз ломал копыа диалектики. Одна внешность, одно появление Сократа сделалось многим ненавистно, и не только брань, но нередко и побои доставались мудрецу как замена аргументу, которого противник не в состоянии был придумать. Сократ в такие минуты мог спокойно замечать, что подобные инциденты столь же мало оскорбляют его, как и ляганье прохожего осла: на них даже не стоит обращать внимания; но дело приняло совсем другой оборот, когда те же противники – из софистов и других – воссели на судейскую скамью и получили в свое распоряжение самую жизнь мудреца. Тогда игнорировать их уже не было возможности, и смерть казалась неминуемой.

При всем том много еще зависело от поведения обвиняемого на суде. Искусная защита и еще более искусное воззвание к чувствам судей могли бы в значительной степени смягчить враждебное настроение последних. Пункт за пунктом разбить возводимые обвинения, подробно и красноречиво изложить свое безупречное прошлое, выставить на вид свои заслуги на войне и во время правления 30 тиранов и, что всего важнее, стараться тронуть сердца судей состраданием к его сединам и его семье, – речь такого рода, наверное, оказала бы сильное впечатление и заставила бы обвинителей умолкнуть. Но напрасно друзья уговаривали Сократа к этому и даже сочиняли защитные речи: мудрец с твердостью отказывался от компромиссов, ссылаясь на то, что он всей своей жизнью готовил себе защиту. «Я человек, как и всякий другой, – говорил он своим судьям по этому поводу, – и, подобно всем смертным, состою не из камня и дере-

ва, как выражался Гомер, а из плоти и крови, весьма чувствительных к страданиям. У меня имеется также и семья, к которой я привязан всем сердцем, – три сына, из которых один взрослый, а двое других еще малые дети. Все же я их не приведу сюда, чтобы мольбами разжалобить ваши сердца и тем добиться оправдания... Вы спросите, почему? Поверьте, что не из гордости и не из недостатка к вам уважения и ни даже оттого, что не чувствую страха перед смертью, а просто ввиду общественного мнения, которое найдет подобное поведение с моей стороны недостойным ни меня, ни вас, ни всего афинского общества. Не только для человека в моем возрасте и с моей репутацией мудреца было бы непристойно унижаться, но и вообще, просить у судьи снисхождения и тем добиться своей свободы – в высшей степени безнравственно. Ибо обязанность судьи – не дарить справедливость, а произносить приговор: он поклялся судить согласно с законами, а не со своими личными пристрастиями. Ни мы поэтому не должны поощрять в вас подобного рода слабости, ни вы сами не должны их позволить: в противном случае получится не справедливость, а богохульство... Кроме того, о афиняне, если бы я мольбою или силою убеждения заставил вас забыть свою клятву, я этим самым учил бы вас, что богов нет, и таким образом, защищаясь от нападков в неверии, обвинил бы себя сам...»

Таким образом, Сократ не только отказывается просить у судей снисхождения, но еще и заставляет их выслушивать на этот счет такие откровенности, которые вряд ли могли прийти им по вкусу и расположить их в его пользу. Но и этого мало. Когда ему предлагают пойти на уступки и отказаться от своих убеждений и дальнейшей деятельности, Сократ гордо заявляет, что он смерти не боится: «Человек, стремящийся к идеалам, не должен думать ни о жизни, ни о смерти, а только

смотреть за тем, чтобы, делая что-нибудь, он поступал честно, как подобает честному человеку». Во-вторых же, – и это главное – его дело слишком важно, его призвание слишком высокое, чтобы от них можно было отказаться: они ниспосланы были ему самим Божеством на благо всего общества. «Я знаю, – говорит он с благородным достоинством, – я даже убежден, что ничья заслуга перед обществом не велика так, как мое повиновение велениям Божества. Я только и делаю, что хожу и убеждаю вас всех, и старого и малого, оставить всякую заботу о материальных благах, сосредоточиться преимущественно на совершенствовании своей души. Добродетель, я говорю вам, за деньги не покупается, но за нею следуют и деньги, и прочие земные блага, общественные и личные». При таких условиях отречься от деятельности разве не было бы равносильно измене отечеству? «Каков бы ни был пост, занимаемый человеком, – избрал ли последний его сам или он был назначен на него начальством, – этот человек должен оставаться там в минуту опасности и не думать ни о смерти, ни о чем другом, кроме как о бесчестии. . . Как странно было бы поэтому, о афиняне, если бы я, который под Потидеей, Амфиполисом и Делием стоял на своем посту по приказу выбранных вами полководцев, не страшась наравне с другими встретить смерть лицом к лицу, – теперь вдруг из страха перед смертью и другим подобным покинул бы свой пост, свою философскую миссию, ниспосланную мне Божеством на благо свое и других! Да, граждане, это было бы странно, и вы действительно имели бы тогда право привлечь меня к ответственности за отрицание богов, – за то, что из столь мелочных расчетов я отказался повиноваться Божеству. . . »

Такая постановка вопроса решает все дело: всякая уступка и сделка с совестью была бы глубоко безнравственна. Компромисс невозможен, – и «я глубоко почитаю и уважаю вас,

афиняне, но я скорее стану повиноваться оракулу, нежели вам, и покуда у меня хватит сил и станет жизни, я не перестану преподавать философию и поступать, как я считаю нужным».

Эти заявления показали раздраженным судьям верхом самоуверенности и наглости, и большинством – 280 против 220 – голосов великий мудрец был признан виновным по обоим пунктам обвинения. Оставалось определить наказание. По афинскому закону суд в этом не имел собственного голоса, а должен был выбирать между наказанием, предлагаемым обвинителем, и тем, которое назначает себе подсудимый сам, а так как Мелит и его товарищи требовали смертной казни, то теперь очередь была за Сократом. В подобных случаях было принято, чтоб и подсудимый предложил наказание, хотя и более легкое, нежели то, на котором настаивает противная сторона, но все же достаточно серьезное, чтобы суд мог на него согласиться. В данном же случае самое благоразумное было бы предложить изгнание, – весьма суровое наказание, на котором суд, после некоторых размышлений, вероятно, остановился бы из внимания к сединам Сократа и его заслугам в прошлом.

Сами друзья Сократа, ни на минуту не покидавшие его во все время процесса, настаивали, по-видимому, на этом, но мудрец упорно отказывался. Он согласен скорее умереть, нежели скитаться на старости лет по чужим странам, среди чуждой обстановки и незнакомых людей. Ему придется влачить свою жалкую жизнь под вечным страхом подобного же процесса, ибо кто может поручиться, что, продолжая свою деятельность и в изгнании, он и там не вызовет такой же ненависти, как и здесь, в Афинах? Ему опять будут угрожать процесс и смерть, и ему вновь придется бежать, чтобы начать свои приключения сызнова. К тому же, при его сознании не только своей невинности, но даже заслуг перед об-

ществом, как может он назначать себе наказание вообще, и еще такое суровое, как изгнание, в особенности? Не будет ли это с его стороны косвенным признанием своей виновности? «Что же, о афиняне, могу я предложить? Не то ли, что мне следует по заслугам? Я проработал всю свою жизнь, не зная усталости и не заботясь ни о чем, что так занимает умы прочих людей, – ни о богатствах, ни о семье, ни о военных почестях, ни о гражданских должностях, ни о народных собраниях, ни о партиях. Что же мне следует за это? Что полагается человеку бедному, почти нищему, но общественному благодетелю, который нуждается в обеспеченном – материально – досуге, чтобы продолжать свою благотворную деятельность?» И Сократ без иронии, совершенно серьезно и искренне приходит к заключению, что ввиду великих его заслуг самой достойной для него участью было бы... содержание на общественный счет в Пританее на всю его остальную жизнь! Такая неслыханная, вопиющая дерзость должна была окончательно взорвать судей; да и сами друзья философа, несмотря на все чувство восторженного удивления к такому поразительному нравственному величию, должны были вместе с тем признать безрассудство этих слов и, то упрекая, то умоляя, настаивать на том, чтобы он не шел навстречу своей собственной гибели и предложил бы хоть какой-нибудь штраф. Сократ уступил, но так как он – человек бедный, то какой штраф может он предложить? Пожалуй, ему удастся собрать мину, и эту сумму он готов назначить в качестве штрафа, «но, впрочем, Платон, Критон, Критобул, Аполлодор и другие мои друзья готовы поручиться за меня на сумму в 30 мин. Этот штраф, в 30 мин, я и предлагаю себе в наказание».

Но ярость судей не знала уже пределов и даже такая крупная пеня казалась смешной и оскорбительной: увеличенным против прежнего большинством в 320 голосов против 180

произнесен был роковой приговор: ввиду доказанной виновности Сократа в возводимых преступлениях, – а еще больше, быть может, ввиду оскорбительного поведения его на суде, – мудрец должен умереть через отравление. Осужденный покорно склонил свою голову перед решением суда и, после некоторого молчания, произнес свое последнее слово. Он мягко упрекнул судей за то, что они не могли подождать, пока он, преклонный старик, чьи дни уже все равно были сочтены, умрет естественной смертью, и предсказывал им, что потомство осудит их за эту излишнюю поспешность еще больше, чем за самый суд. Для него же умереть ничего не значит: зло не может коснуться честного человека ни при его жизни, ни после его смерти. Он прощает поэтому своих судей, которые ему лично не причинили никакого зла, хотя и не имели в виду его блага. Он, однако, имеет одну, единственную и последнюю просьбу к ним: если его дети вырастут и будут больше заботиться о богатстве и других земных благах, чем о добродетели, или будут равнодушны к тому, чем надлежит интересоваться, и возымеют о себе более высокое мнение, нежели они имеют на то право, то он умоляет суд поступать с ними так, как он поступал бы с ними сам. «Итак, – заключает он словами, дышащими глубоким раздумьем, – час разлуки настал: мы расходимся; я – чтоб умереть, а вы – чтобы жить; но что лучше, – знает один лишь Бог».

Сократу не суждено было умереть на следующий же день, как это полагалось: корабль, который афиняне ежегодно отправляли в Делос на праздник Аполлона, только что отплыл, а в его отсутствие не могла состояться никакая смертная казнь. Сократу пришлось в ожидании своей скорбной участи просидеть в темнице с оковами на ногах целых тридцать дней, но, к счастью, он имел возможность ежедневно видеть своих родных и учеников и беседовать с ними по-прежнему. Говорят, что за

несколько дней до его смерти в темницу к нему пришел богатый Критон, один из наиболее преданных Сократу учеников, и предложил ему бежать, сообщая, что он подкупил тюремщика и что их ждет корабль, готовый к немедленному отплытию в Фессалию. Но Сократ отказался из уважения к законам, и Платон излагает в одном из своих диалогов в «Критоне» разговор, который мудрец имел по этому поводу со своим учеником и другом. Выслушав доводы Критона относительно того, что мудрец не имеет права умереть, когда у него есть возможность жить на благо свое и своих учеников и родных, и что «никто не имеет права произвести на свет детей, кто не имеет в виду вскормить их и воспитать», Сократ в виде аргумента просит Критона вообразить, что бы такое могли сказать им законы государства, если бы, воплощенные в плоть и кровь, они явились к ним в темницу и подслушали их речи. Они прежде всего сказали бы, что ни одно государство не в состоянии долго продержаться, когда отдельные его члены попирают его законы ногами, и что такое попирание тем более несправедливо и непроизволительно, что оно совершенно незаслуженно. Ибо что, в самом деле, дурного сделали они, законы, Сократу, например? Отец его женился и произвел его на свет под сенью законов, он вырос и воспитался под их защитой, и он был ими же обучен гимнастике и музыке. Им, в сущности, он обязан большим, нежели родному отцу и матери, и если чудовищно оскорблять словом или действием последних, то во сколько раз чудовищнее было бы оскорблять их, законы! И он, Сократ, учитель нравственности, который непрестанно твердил о необходимости чтить родителей как о священнейшем долге и величайшей добродетели, мог бы решиться попрасть законы, отказать им в повиновении и уважении и тем явить собою пример неблагодарного сына, в ком все святое и благородное уснуло навеки? Но еще

больше: вскормив его и воспитав, одарив его всеми неисчислимыми благами, какие только они в состоянии были ему дать, они, законы, ничуть не удерживали его в своей стране; напротив, как и всякому другому гражданину, достигшему совершеннолетия, они предоставляли ему полное право уйти от них со всей своей семьей и имуществом. Сократ же прожил на белом свете 70 лет и, следовательно, имел достаточно времени обдумать, нравятся ли ему порядки его родины или нет; но тем самым, что он остался жить в Афинах, он показал, что любит свою страну и соглашается уважать ее законы, образ правления, нравы и обычаи. Как глубоко безнравственно, как позорно было бы поэтому, если бы Сократ теперь отверг договор, который он сам добровольно заключил и которому он следовал всю свою жизнь! Сколько бесстыдства нужно было бы на то, чтобы, нарушив этот контракт, он, Сократ, стал потом опять проповедовать добродетель, справедливость и повиновение законам! «Таков, дорогой мой Критон, – заключает Сократ, – таков голос, звучащий у меня в ушах подобно звуку флейты, раздающемуся в ушах священнодействующего в таинствах. Этот голос звучит немолчно, не давая мне расслышать чей-либо другой, и я знаю, что все, что бы ты ни сказал, будет напрасно. Все же говори, если знаешь, что». «Ничего я не могу сказать больше, Сократ, – тихо промолвил опечаленный ученик. «Так иди же с миром, Критон, и дай мне исполнить волю Божества и идти, куда оно велит».

События последнего дня из жизни Сократа изложены Платоном в его диалоге «Федоне». Сам автор по болезни не присутствовал при кончине своего учителя, и рассказ ведется от имени Федона, любимейшего ученика Сократа; тем не менее общая достоверность передаваемых событий не подлежит сомнению. В этот день, рано утром, собрались в его келье его друзья и нашли его уже без цепей и в об-

ществе Ксантиппы и всей семьи. Увидав их, Сократ выслал жену и детей и сам остался наедине со своими учениками, чтобы побеседовать с ними в последний раз. Бесед этих в точности мы не знаем: мы не можем принять за подлинные те, которые передает нам Платон; тем не менее, несомненно, что они вертелись вокруг вопросов о душе, ее бессмертии, о гробе, о жизни за ним и т. д. Лица сократовых учеников были чрезвычайно грустны, глаза их не раз заволакивались слезами, и из груди то и дело вырывались глубокие вздохи. Сократ же, играя кудрями Федона, ласково и нежно, как мать, утешал их, указывая на неосновательность горя их и говоря о необходимости умереть так или иначе. С той же силой диалектики, но, быть может, с большей мягкостью в тоне, аргументировал он о вероятности загробной жизни и так, как и прежде, пересыпал свои доказательства шутками, притчами и стихами из любимых поэтов. Когда же солнце стало клониться к закату и роковой час был уже близок, Сократ удалился в соседнюю келью и принял ванну, после чего велел позвать жену и сыновей. Дав им необходимые наставления и ласково простившись, он поручил заботу о них Критону и отослал их, не желая, чтобы они присутствовали при его кончине и испытали лишние страдания. Вскоре вошел в келью и тюремщик со скорбной чашей в руках; он попросил Сократа простить его за печальную, хотя и невольную обязанность, которую ему приходится исполнять, выразил всю ту безграничную любовь, которую мудрец успел ему внушить за это короткое время, и, дав надлежащие наставления, простился с ним, еле удерживаясь от слез. Сократ взял чашу цикуты из его рук и, свершив молитву богам, спокойно, без волнения

выпил ее. До сих пор ученики его крепились, но тут они не выдержали: Федон залился слезами и, закрыв голову хитомом, в отчаянии отвернулся к стене, а молодой Аполлодор, который весь день не переставал тихо плакать, разрыдался тут страстным судорожным воплем. Даже старик Критон не мог удержаться и горько заплакал. Один Сократ сохранил обычное свое самообладание и нежными упреками и увещаниями заставил их наконец замолкнуть. После этого, согласно наставлениям тюремщика, Сократ принялся ходить по комнате, пока не почувствовал тяжести в ногах. Он слег на кровать, а тюремщик время от времени подходил к нему, ощупывая ему ноги и спрашивая, чувствует ли он. Яд действовал, начиная с конечностей, и по тому, как нечувствительность распространялась все выше и выше по телу, можно было судить о постепенном угасании жизненных функций организма. Аполлодор пробовал здесь предложить дорогому учителю роскошную мантию с целью подостлать и на ней прилично испустить последний вздох, но Сократ только улыбнулся, спросив, неужели он думает, что его собственная одежда, годившаяся ему в жизни, не может годиться ему и в час смерти? Меж тем холод и окоченелость распространялись постепенно по всему телу, и, когда дошли до поясницы, Сократ, обратившись к Критону, попросил его не забыть принести Эскулапу в жертву петуха, – в знак исцеления. Критон обещал, но, когда он спросил, может быть, ему еще чего-нибудь надо, ответа уже не последовало. Сократ только вздрогнул и вытянулся. Все было кончено, и Критон закрыл глаза дорогому покойнику.

Так скончался Сократ – один из удивительнейших людей, какого когда-либо знало человечество.